

**Маркус Зусак
Книжный вор**

Young Adult. Легендарные книги –

От создателя «Книжного вора». Выбор нового поколения –

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР

МАРКУС ЗУСАК



Книжный вор

«Книга, которая изменит вашу жизнь».
The New York Times

«Книжный вор: Роман / Пер. с англ. Н. Мезина»: Эксмо, Домино; Москва; 2007
ISBN 978-5-699-52811-0

Аннотация

Январь 1939 года. Германия. Страна, затаившая дыхание. Никогда еще у смерти не было столько работы. А будет еще больше.

Мать везет девятилетнюю Лизель Мемингер и ее младшего брата к приемным родителям под Мюнхен, потому что их отца больше нет – его унесло дыханием чужого и странного слова «коммунист», и в глазах матери девочка видит страх перед такой же судьбой. В дороге смерть навещает мальчика и впервые замечает Лизель.

Так девочка оказывается на Химмель-штрассе – Небесной улице. Кто бы ни придумал это название, у него имелось здоровое чувство юмора. Не то чтобы там была суцкая преисподняя. Нет. Но и никак не рай.

«Книжный вор» – недлинная история, в которой, среди прочего, говорится: об одной девочке; о разных словах; об аккордеонисте; о разных фанатичных немцах; о еврейском драчуне; и о множестве краж. Это книга о силе слов и способности книг вскармливать душу.

Маркус Зусак Книжный вор

© 2006 by Markus Zusak Illustrations copyright

© 2006 by Trudy White

© Перевод. Н. Мезин, 2007

© ООО «Издательство «Эксмо», 2007

* * *

Об авторе

Австралийский писатель Маркус Зусак родился в 1975 году и вырос на рассказах родителей – эмигрантов из Австрии и Германии, переживших ужасы Второй мировой войны. Австралийские и американские критики называют его «литературным феноменом» неспроста: он признан одним из самых изобретательных и поэтичных романистов нового века. Маркус Зусак – лауреат нескольких литературных премий за книги для подростков и юношества. Живет в Сиднее.

Веб-сайт автора: www.markuszusak.com

Мировая пресса о романе «Книжный вор»

«Книжного вора» будут превозносить за дерзость автора... Книгу будут читать повсюду и восхищаться, поскольку в ней рассказывается история, в которой книги становятся сокровищами. А с этим не поспоришь.

New York Times

«Книжный вор» бережит душу. Это несентиментальная книга, но глубоко поэтичная. Ее мрачность и сама трагедия пропускаются сквозь читателя, будто черно-белое кино, из которого украдены краски. Зусаку, быть может, и не довелось жить под пятой фашизма, но его роман заслуживает места на полке рядом с «Дневником Анны Франк» и «Ночью» Эли

Визеля. Похоже, роман неизбежно станет классикой.

USA Today

Зусак ничего не подслащивает, но ощутимую мрачность его романа можно вынести так же, как «Бойню номер 5» Курта Воннегута – здесь тоже как-то сурово утешает чувство юмора.

Time Magazine

Элегантная, философская и трогательная книга. Прекрасная и очень важная.

Kirkus Reviews

Этот увесистый том – немалое литературное достижение. «Книжный вор» бросает вызов всем нам.

Publisher's Weekly

Роман Зусака – туго натянутый трос канатоходца, сплетенный из эмоциональной пластичности и изобретательности.

The Australian

Триумф писательской дисциплины... один из самых необычных и убедительных австралийских романов нового времени.

The Age

Стремительная, поэтичная и великолепно написанная сказка.

Daily Telegraph

Литературная жемчужина.

Good Reading

Блистательная причудливая сказка. Превосходная книга, которую вы будете рекомендовать всем, кого встретите.

Herald-Sun

Блестяще и амбициозно... Такие книги способны изменить жизнь, потому что, не отрицая внутренне присущей аморальности и случайности естественного порядка вещей, «Книжный вор» предлагает нам с таким трудом завоеванную надежду. А она непобедима даже в нищете, войне и насилии. Юным читателям нужны такие альтернативы идеологическим догматам и такие открытия важности слов и книг. Да и взрослым они не помешают.

The New York Times Review of Books

Одна из самых долгожданных книг последних лет.

The Wall Street Journal

Эта книга действует на читателя, как графический роман.

The Philadelphia Inquirer

Изумительно написанная и населенная запоминающимися героями, книга Зусака – пронзительная дань словам, книгам и силе человеческого духа. Этот роман можно не только читать – в нем стоит поселиться.

The Horn Book Magazine

Маркус Зусак создал произведение, заслуживающее самого пристального внимания не только изощренных подростков, но и взрослых, – гипнотическую и оригинальную историю, написанную поэтическим языком, который заставляет читателей упиваться каждой строкой, даже если действие неумолимо тащит их вперед. Необычайное повествование.

School Library Journal

Подростков толщина книги, ее темы и подход автора могут, пожалуй, отпугнуть, но книга несомненно увлекает своим вдохновенным повествованием.

The Washington Post's Book World

Эта история разобьет сердце как подросткам, так и взрослым.

Bookmarks Magazine

Потрясающие людские характеры, выписанные без лишней сентиментальности, хватают читателя за душу.

Booklist

Элизабет и Хельмуту Зусакам с любовью и восхищением

ПРОЛОГ
ГОРНЫЙ ХРЕБЕТ ИЗ БИТОГО КАМНЯ
где наш рассказчик представляет:
себя – краски – и книжную воришку

СМЕРТЬ И ШОКОЛАД

Сначала краски.
 Потом люди.
 Так я обычно вижу мир.
 Или, по крайней мере, пытаюсь.

***** ВОТ МАЛЕНЬКИЙ ФАКТ *****

Когда-нибудь вы умрете.

Ни капли не кривлю душой: я стараюсь подходить к этой теме легко, хотя большинство людей отказывается мне верить, сколько бы я ни возмущался. Прошу вас, поверьте. Я еще *как* умею быть легким. Умею быть дружелюбным. Доброжелательным. Душевным. И это на одну букву Д. Вот только не просите меня быть милым. Это не ко мне.

***** РЕАКЦИЯ НА ***
ВЫШЕПРИВЕДЕННЫЙ ФАКТ
Это вас беспокоит?
Призываю вас – не бойтесь.
Я всего лишь справедлив.**

Ах да, представиться.
Для начала.
Где мои манеры?

Я мог бы представиться по всем правилам, но ведь в этом нет никакой необходимости. Вы узнаете меня вполне близко и довольно скоро – при всем разнообразии вариантов. Достаточно сказать, что в какой-то день и час я со всем радушием встану над вами. На руках у меня будет ваша душа. На плече у меня будет сидеть какая-нибудь краска. Я осторожно понесу вас прочь.

В эту минуту вы будете где-то лежать (я редко застаю человека на ногах). Тело застынет на вас коркой. Возможно, это случится неожиданно, в воздухе разбрызгается крик. А после этого я услышу только одно – собственное дыхание и звук запаха, звук моих шагов.

Вопрос в том, какими красками будет все раскрашено в ту минуту, когда я приду за вами. О чем будет говорить небо?

Лично я люблю шоколадное. Небо цвета темного, темного шоколада. Говорят, этот цвет мне к лицу. Впрочем, я стараюсь наслаждаться всеми красками, которые вижу, – всем спектром. Миллиард вкусов или около того, и нет двух одинаковых – и небо, которое я медленно впитываю. Все это сглаживает острые края моего бремени. Помогает расслабиться.

***** НЕБОЛЬШАЯ ТЕОРИЯ ***
Люди замечают краски дня только при его рождении
и угасании, но я отчетливо вижу, что всякий день
с каждой проходящей секундой протекает
сквозь мириады оттенков и интонаций.
Единственный час может состоять из тысяч разных красок.
Восковатые желтые, синие с облачными плевками.
Грязные сумраки. У меня такая работа,
что я взял за правило их замечать.**

На это я и намекаю: меня выручает одно умение – отвлекаться. Это спасает мой разум. И помогает управляться – учитывая, сколь долго я исполняю эту работу. Сможет ли хоть кто-нибудь меня заменить – вот в чем вопрос. Кто займет мое место, пока я провожу отпуск в каком-нибудь из ваших стандартных курортных мест, будь оно пляжной или горнолыжной разновидности? Ответ ясен – никто, и это подвигло меня к сознательному и добровольному решению: отпуском мне будут отвлечения. Нечего и говорить, что это отпуск по кусочкам. Отпуск в красках.

И все равно не исключено, что кто-то из вас может спросить: зачем ему вообще нужен отпуск? *От чего* ему нужно отвлекаться?

Это будет второй мой пункт.

Оставшиеся люди.

Выжившие.

Это на них я не могу смотреть, хотя во многих случаях все-таки не удерживаюсь. Я намеренно высматриваю краски, чтобы отвлечь мысли от живых, но время от времени приходится замечать тех, кто остается, — раздавленных, повергнутых среди осколков головоломки осознания, отчаяния и удивления. У них проколоты сердца. Отбиты легкие.

Это, в свою очередь, подводит меня к тому, о чем я вам расскажу нынче вечером — или днем, или каков бы ни был час и цвет. Это будет история об одном из таких вечно остающихся — о знатоке выживания.

Недлинная история, в которой, среди прочего, говорится:

- об одной девочке;
- о разных словах;
- об аккордеонисте;
- о разных фанатичных немцах;
- о еврейском драчуне;
- и о множестве краж.

С книжной воришкой я встречался три раза.

У ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Сначала возникло что-то белое. Слепящей разновидности.

Некоторые из вас наверняка верят во всякую тухлую дребедень: например, что белый — толком и не цвет никакой. Так вот, я пришел, чтобы сказать вам, что белый — это цвет. Без всяких сомнений цвет, и лично мне кажется, что спорить со мной вы не захотите.

*** ОБНАДЕЖИВАЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ***

Пожалуйста, не волнуйтесь, пусть я вам только что пригрозил.

Все это хвастовство — я не свирепый.

Я не злой.

Я — итог.

Да, все белое.

Мне показалось, что весь земной шар оделся в снег. Натянул его на себя, как натягивают свитер. У железнодорожного полотна — следы ног, утонувших по щиколотку. Деревья под ледяными одеялами.

Как вы могли догадаться, кто-то умер.

И его не могли просто взять и оставить на земле. Пока это еще не такая беда, но скоро путь впереди восстановят, и поезду нужно будет ехать дальше.

Там было двое кондукторов.

И мать с дочерью.

Один труп.

Мать, дочь и труп — упрямые и безмолвны.

— Ну чего ты еще от меня хочешь?

Один кондуктор был высокий, другой — низкий. Высокий всегда заговаривал первым, хоть и не был начальником. Теперь он посмотрел на низкого и кругленького второго. У того было мясистое красное лицо.

— Ну, — ответил он, — мы не можем их просто здесь бросить, правильно?

Терпение высокого кончалось.

– Почему нет?

Низкий разозлился как черт. Он уперся взглядом в подбородок высокого:

– Spinnst du? Ты дурной?

Омерзение сгущалось на его щеках. Кожа натянулась.

– Пошли, – сказал он, оступившись в снегу. – Отнесем обратно в вагон всех троих, если придется. Сообщим на следующую станцию.

А я уже совершил самую элементарную ошибку. Не могу передать вам всю степень моего недовольства собой. Сначала я все делал правильно:

Изучил слепящее снежно-белое небо – оно стояло у окна движущегося вагона. Я прямо-таки *дыхал* его, но все равно дал слабину. Я дрогнул – мне стало интересно. Девочка. Любопытство взяло верх, и я разрешил себе задержаться, насколько позволит мое расписание, – и понаблюдать.

Через двадцать три минуты, когда поезд остановился, я вылез из вагона за ними.

У меня на руках лежала маленькая душа.

Я стоял чуть справа от них.

Энергичный дуэт кондукторов направился обратно к матери, девочке и трупiku мужского пола. Точно помню, в тот день дышал я шумно. Удивляюсь, как кондукторы меня не услышали. Мир уже провисал под тяжестью всего этого снега.

Метрах в десяти слева от меня стояла и мерзла бледная девочка с пустым животом.

У нее дрожали губы.

Она сложила на груди озябшие руки.

А на лице книжной воришки замерзли слезы.

ЗАТМЕНИЕ

Следующий – черный закорючки, чтобы показать, если угодно, полюса моей многогранности. Был самый мрачный миг перед рассветом.

В этот раз я пришел за мужчиной лет двадцати четырех от роду. В каком-то смысле это было прекрасно. Самолет еще кашлял. Из обоих его легких сочился дым.

Разбиваясь, он взрезал землю тремя глубокими бороздами. Крылья были теперь словно отпиленные руки. Больше не взмахнут. Эта маленькая железная птица больше не полетит.

*** ЕЩЕ НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ ***

Иногда я прихожу раньше времени.

Я тороплюсь,

а иные люди цепляются

за жизнь дольше, чем ожидается.

Совсем немного минут – и дым иссяк. Больше нечего отдавать.

Первым явился мальчик: сбивчивое дыхание, в руке – вроде бы чемоданчик с инструментами. Ужасно волнуясь, подошел к кабине и вгляделся в летчика – жив ли; тот еще был жив. Книжная воришка прибежала где-то через полминуты.

Прошли годы, но я узнал ее.

Она тяжело дышала.

* * *

Мальчик вынул из чемоданчика – что бы вы думали? – плюшевого мишку.

Просунув руку сквозь разбитое стекло, он положил мишку летчику на грудь. Улыбающийся медведь сидел, нахохлившись, в куче обломков человека и луже крови. Еще через несколько минут рискнул и я. Время пришло.

Я подошел, высвободил душу и бережно вынес из самолета.

Осталось лишь тело, тающий запах дыма и плюшевый медведь с улыбкой.

Когда собралась толпа, все, конечно, изменилось. Горизонт начал угольно сереть. От черноты вверху остались одни каракули – и те быстро исчезали.

Человек в сравнении с небом стал цвета кости. Кожа скелетного оттенка. Мятый комбинезон. Глаза у него были холодные и бурые, как пятна кофе, а наверху последняя загогулина превратилась во что-то для меня странное, однако узнаваемое. В закорючку.

Толпа занималась тем, чем занимается толпа.

Пока я пробирался в ней, каждый, кто стоял там, как-то подыгрывал этой тишине. Легкое сгущение несвязных движений рук, приглушенных фраз, безмолвных беспокойных оглядок.

Когда я обернулся на самолет, мне показалось, что летчик улыбается открытым ртом.

Грязная шутка под занавес.

Еще одна человеческая острота.

Человек лежал в пеленах комбинезона, а сереющий свет мерялся силой с небом. И как бывало уже много раз, стоило мне двинуться прочь, быстрая тень словно бы набежала опять – последний миг затмения, признание того, что еще одна душа отлетела.

Знаете, в какой-то миг, несмотря на краски, что ложатся и цепляются на все, что я вижу в мире, я часто ловлю затмение, когда умирает человек.

Я видел миллионы затмений.

Я видел их столько, что лучше уж и не помнить.

ФЛАГ

Последний раз, когда я видел ее, был красным. Небо напоминало похлебку, размешанную и кипящую. В некоторых местах оно пригорело. В красноте мелькали черные крошки и катышки перца.

Раньше дети играли тут в классики – на улице, похожей на страницы в жирных пятнах. Когда я прибыл, еще слышалось эхо. По мостовой топали ноги. Смеялись детские голоса, присоленные улыбками, но разлагались быстро.

И вот – бомбы.

В этот раз все опоздало.

Сирены. Кукушка визжит по радио. Все опоздало.

За какие-то минуты выросли и взгромоздились холмы из бетона и земли. Улицы стали разорванными венами. Кровь бежала по дороге, пока не высыхала, а в ней увязали тела, как бревна после наводнения.

Приклеенные к земле, все до единого. Целая уйма душ.

Судьба ли это?

Невезение?

Оттого ли они все так приклеивались?

Конечно, нет.

Не глупите.

Наверное, дело, скорее, было в ударах бомб – их сбрасывали те люди, что прятались в облаках.

Да, небо теперь было опустошительной необъятно-красной домашней стряпней.

Немецкий городок опять разметали на куски. Снежинки пепла кружили с такой *прелестью*, что подмывало их ловить высунутым языком, пробовать на вкус. Но эти снежинки опалили бы губы. Сварили бы сам рот.

Так и стоит перед глазами.

Я уже собирался двинуться прочь, когда увидел ее на коленях.

Вокруг был написан, оформлен и возведен горный хребет из битого камня. Она цеплялась за книжку.

Помимо остального, книжной воришке отчаянно хотелось обратно в подвал – писать или перечитать свою историю еще раз, последний. Вспоминая, я так отчетливо вижу это на ее лице. Ей до смерти туда хотелось – там надежно, там дом, – но она не могла пошевелиться. А еще и подвала-то больше не было. Он слился с искаленным пейзажем.

И снова прошу вас – пожалуйста, поверьте.

Я хотел задержаться. Наклониться.

Я хотел сказать:

«Прости, малышка».

Но такое не позволено.

Я не наклонился. Не заговорил.

Я просто еще немного поглядел на нее. И когда она смогла двинуться с места, пошел за ней.

Она уронила книгу.

Упала на колени.




Книжная воришка завывала.

Когда началась расчистка, на ее книгу несколько раз наступили, и хотя команда была расчищать только бетонную кашу, самую драгоценную вещь девочки закинули в грузовик с мусором, и тут я не удержался. Залез в кузов и взял ее в руки, вовсе не догадываясь, что оставлю ее себе и буду смотреть на нее много тысяч раз за все эти годы. Буду рассматривать места, где мы пересекаемся, изумляться тому, что видела эта девочка и как она выжила. Лучше я сделать все равно ничего не смогу – тут можно лишь смотреть, как все встраивается в общую картину того, что я тогда видел.

Когда я ее вспоминаю, то вижу длинный список красок, но сильнее всего отзываются те три, в которых я видел ее во плоти. Бывает, мне удается воспарить высоко над теми тремя мгновениями. Я зависаю на месте, а гниlostная истина кровит, пока не приходит ясность.

Вот тогда я и вижу, как они встают в формулу.

* * * КРАСКИ * * *

БЕЛАЯ:  ЧЕРНАЯ:  КРАСНАЯ: 

Они накладываются друг на друга. Черная небрежной закорючки на белую слепящего земного шара и на густую похлебочную красную.

Да, часто я вынужден вспоминать ее, и в одном из бесчисленных своих карманов я носил ее историю – чтобы пересказать. Это одна из небольшого множества историй, которые я ношу с собой, и каждая сама по себе исключительна. Каждая – попытка, да еще какая попытка – доказать мне, что вы и ваше человеческое существование чего-то стоите.

Вот эта история. Одна из горсти.

Книжная воришка.

Если есть настроение, пошли со мной. Я расскажу вам ее.
Я кое-что вам покажу.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ «НАСТАВЛЕНИЕ МОГИЛЬЩИКУ»

с участием:

**химмель-штрассе – искусства свинюшества –
женщины с утюжным
кулаком – попытки поцелуя – джесси оуэнза –
наждачки – запаха дружбы – чемпиона в тяжелом
весе – и всем трепкам трепки**

ПРИБЫТИЕ НА ХИММЕЛЬ-ШТРАССЕ

Последний раз.
То красное небо...
Отчего вышло так, что книжная воришка стояла на коленях и выла рядом с
рукотворной грудой нелепого, засаленного, кем-то состряпанного битого камня?
Много лет назад началось снегом.
Пробил час. Для кого-то.

***** ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ ТРАГИЧЕСКИЙ МИГ *****

**Поезд шел быстро.
Он был набит людьми.
В третьем вагоне умер шестилетний мальчик.**

Книжная воришка и ее брат ехали в Мюнхен, где их скоро должны передать приемным
родителям. Теперь мы, конечно, знаем, что мальчик не доехал.

***** КАК ЭТО СЛУЧИЛОСЬ *****

**Внезапный порыв сильного кашля.
Почти вдохновенный порыв.
А за ним – ничего.**

Когда прекратился кашель, не осталось ничего, кроме ничтожества жизни, что, шаркая,
скользнула прочь, или почти беззвучной судороги. Тогда внезапность пробралась к его губам
– они были ржаво-бурого цвета и шелушились, как старая покраска. Нужно срочно
перекрашивать.

Их мать спала.
Я вошел в поезд.
Мои ноги ступили в загроможденный проход, и в один миг моя ладонь легла на губы
мальчика.
Никто не заметил.
Поезд неся вперед.
Кроме девочки.

Одним глазом глядя, а другим еще видя сон, книжная воришка – она же Лизель
Мемингер – без вопросов поняла, что младший брат Вернер лежит на боку и мертвый.

Его синие глаза смотрели в пол.
И не видели ничего.

Перед пробуждением книжная воришка видела сон о фюрере – Адольфе Гитлере. Во сне она была на митинге, где выступал фюрер, смотрела на его пробор цвета черепа и на идеальный квадратик усов. И с удовольствием слушала бурный поток слов, изливавшийся из его рта. Его фразы сияли на свету. В спокойный момент фюрер взял и наклонился – и улыбнулся ей. Она ответила ему улыбкой и сказала: «Guten Tag, Herr Führer. Wie geht's dir heute?» Она так и не научилась красиво говорить, и даже читать, потому что в школу она ходила редко. Причину этому она узнает в свое время.

И едва фюрер собрался ответить, она проснулась.
Шел январь 1939 года. Ей было девять лет, скоро исполнится десять.
У нее умер брат.

Один глаз открыт.
Один еще во сне.

Наверное, лучше бы она совсем спала, но на такое я, по правде, влиять не могу.

Сон слетел со второго глаза, и она меня застигла, тут нет сомнений. Как раз когда я встал на колени, вынул душу мальчика и она обмякла в моих распухших руках. Дух мальчика быстро согрелся, но в тот миг, когда я подобрал его, он был вялым и холодным, как мороженое. Начал таять у меня на руках. А потом стал согреваться и согрелся. И выздоровел.

А у Лизель Мемингер остались только запертая скованность движений и пьяный наскок мыслей. Es stimmt nicht. Это не на самом деле. Это не на самом деле.

И встряхнуть.

Почему они всегда их трясут?

Да, знаю, знаю – я допускаю, что это как-то связано с инстинктами. Запрудить течение истины. Сердце девочки в ту минуту было скользким и горячим, и громким, таким громким, громким.

Я сглупил – задержался. Посмотреть.

И теперь мать.

Лизель разбудила ее такой же очумелой тряской.

Если вам трудно представить это, вообразите неловкое молчание. Вообразите отчаяние, плывущее кусками и ошметками. Это как тонуть в поезде.

Стойко сыпал снег, и мюнхенский поезд остановили из-за работ на поврежденном пути. В поезде выла женщина. Рядом с ней в оцепенении застыла девочка.

В панике мать распахнула дверь.

Держа на руках трупик, она выбралась на снег.

Что оставалось девочке? Только идти следом.

Как вам уже сообщили, из поезда вышли и два кондуктора. Они решали, что делать, и спорили. Положение неприятное, чтобы не сказать больше. Наконец постановили, что всех троих нужно довезти до следующей станции и там оставить, пусть сами разбираются.

Теперь поезд хромал по заснеженной местности.

Вот он оступился и замер.

Они вышли на перрон, тело – на руках у матери.

Встали.

Мальчик начал тяжелеть.

Лизель не имела понятия, где оказалась. Кругом все бело, и пока они ждали, ей оставалось только разглядывать выцветшие буквы на табличке. Для Лизель станция была

безымянной, здесь-то через два дня и похоронили ее брата Вернера. Присутствовали священник и два закоченевших могильщика.

***** НАБЛЮДЕНИЕ *****

Пара кондукторов.

Пара могильщиков.

Когда доходило до дела, один отдавал приказы.

Другой делал, что ему говорили.

**И вот в чем вопрос: что если *другой* – гораздо больше,
чем один?**

Прوماхи, промахи – иногда я, кажется, только на них и способен.

Два дня я занимался своими делами. Как всегда, мотался по всему земному шару, поднося души на конвейер вечности. Видел, как они безвольно катятся прочь. Несколько раз я предостерегал себя: нужно держаться подальше от похорон брата Лизель Мемингер. Но не внял своему совету.

Приближаясь, я еще издали разглядел кучку людей, стило торчавших посреди снежной пустыни. Кладбище приветствовало меня как старого друга, и скоро я уже был с ними. Стоял, склонив голову.

Слева от Лизель два могильщика терли руки и ныли про снег и неудобства рытья в такую погоду.

– Такая тяжесть врубаться в эту мерзлоту... – И так далее.

Одному было никак не больше четырнадцати. Подмастерье. Когда он уходил, из кармана его тужурки невинно выпала какая-то черная книжка, а он не заметил. Успел отойти, может, шагов на двадцать.

Еще несколько минут, и мать пошла оттуда со священником. Она благодарила его за службу.

Девочка же осталась.

Земля подалась под коленями. Настал ее час.

Все еще не веря, она принялась копать. Не может быть, что он умер. Не может быть, что он умер. Не может...

Почти сразу же снег вгрызся в ее кожу.

Замерзшая кровь трескалась у нее на руках.

Где-то среди всего снега Лизель видела свое разорванное сердце, две его половинки. Каждая рдела и билась в этой белизне. Лишь ощутив на плече костлявую руку, девочка поняла, что за ней вернулась мать. Девочку оттаскивали куда-то волоком. Теплый вопль наполнил ее горло.

***** КАРТИНКА, МЕТРАХ *****

**В ДВАДЦАТИ Волок завершился, мать и
дочь остановились отдышаться.**

**В снегу торчал какой-то черный
прямоугольник.**

Его увидела только девочка.

**Нагнулась и подняла его и
крепко зажала в пальцах.**

На книге были серебряные буквы.

Они держались за руки.

Отпустили последнее, насквозь вымокшее «прости», повернулись и ушли с кладбища, еще несколько раз оглянувшись.

Я же задержался еще на несколько секунд.

И помахал.

Никто не махнул мне в ответ.

Мать и дочь покинули кладбище и отправились к следующему мюнхенскому поезду.

Обе худые и бледные.

У обеих на губах язвы.

Лизель заметила это в грязном запотевшем стекле вагона, когда незадолго до полудня они сели в поезд. По словам, написанным самой книжной воришкой, путешествие продолжалось, будто *все* уже произошло.

Поезд прибыл на Мюнхенский вокзал, и пассажиры заскользили наружу, будто из порванного пакета. Там были люди всех сословий, но бедные узнавались быстрее прочих. Обездоленные стараются всегда быть в движении, словно перемена мест может чем-то помочь. Не понимают, что в конце пути их будет ждать старая беда в новом обличье – родственник, целовать которого претит.

Полагаю, мать вполне это сознавала. Своих детей она везла не в высшие слои мюнхенского общества, но, видимо, приемную семью уже нашли, и новые родители, по крайней мере, могли хотя бы кормить девочку и мальчика получше и нормально выучить.

Мальчика.

Лизель не сомневалась, что память о нем мать несет, взвалив на плечи. Вот она его уронила. Его ступни, ноги, тело шлепнулись на платформу.

Как эта женщина могла ходить?

Как вообще могла двигаться?

Мне этого никогда не узнать и не понять до конца: на что способны люди.

Мать подняла его и пошла дальше, а девочка съежилась у нее под боком.

* * *

Состоялась встреча с чиновниками, свои ранимые головы подняли вопросы об опоздании и о мальчике. Лизель выглядывала из угла тесного пыльного кабинета, а мать ее, сцепив мысли, сидела на самом жестком стуле.

Потом – суматоха прощания.

Прощание вышло слюнявым, девочка зарывалась головой в шерстяные изношенные плёсы маминого пальто. И опять куда-то волоком.

Далеко за окраиной Мюнхена был городок под названием *Molching* – таким, как мы с вами, правильнее всего произносить его как *Молькинг*. Туда и повезли девочку – на улицу под названием Химмель-штрассе.

*** ПЕРЕВОД ***

Himmel = Небеса

Кто бы ни придумал это название, у него имелось здоровое чувство юмора. Не то чтобы там была суцая преисподняя. Нет. Но и никак не рай.

Как бы там ни было, Лизель ждали новые родители.

Хуберманы.

Они ожидали девочку и мальчика, и на этих детей им должны были выделить

небольшое пособие. Никто не хотел оказаться тем вестником, которому придется сообщить Розе Хуберман, что мальчик поездки не пережил. Сказать по правде, Розе никто вообще ничего не хотел говорить. В том, что касается характеров, Розе достался не самый ангельский, хотя у нее имелись успехи в воспитании приемных детей. Нескольких она явно перевоспитала.

Для Лизель это была поездка на машине.

Прежде на машине она не ездила ни разу.

Желудок ее непрерывно подскакивал и проваливался, к тому же трепетала тщетная надежда, что они заблудятся или передумают. А помимо прочего она не могла не возвращаться мыслями к матери, которая осталась на вокзале, собираясь уехать снова. Дрожит. Кутается в свое бесполезное пальто. Дожидаясь поезда, она будет грызть ногти. Перрон длинный и неудобный – ломоть холодного цемента. Будет ли она высматривать на обратном пути в том районе место, где похоронен ее сын? Или навалится слишком крепкий сон?

Машина катила дальше, и Лизель в ней с ужасом ждала последнего, смертельного поворота.

День стоял серый – цвета Европы.

Вокруг машины задвинули шторы дождя.

– Почти приехали. – Фрау Генрих, дама из государственной опеки, обернулась к девочке и улыбнулась. – Dein neues Heim. Твой новый дом.

Лизель протерла кружок на слезящемся окне и выглянула.

*** ФОТОСНИМОК ХИММЕЛЬ-ШТРАССЕ ***

Дома будто склеены между собой,
 большей частью крохотные коттеджи
 и длинные жилые блоки – эти, похоже, нервничают.
 Замусоленный снег стелется ковром.
 Бетон, голые деревья – вешалки для шляп
 – и серый воздух.

С ними ехал еще один мужчина. Он остался с девочкой, когда фрау Генрих скрылась в доме. Ни разу не заговорил. Лизель решила: его приставили, чтоб она не сбежала или чтобы затащить ее внутрь, если она вдруг заупрямится. Но при этом, когда позже она таки заупрямилась, мужчина просто сидел и смотрел. Может, был крайним средством, окончательным решением.

Через несколько минут вышел очень высокий человек. Ганс Хуберман, приемный отец Лизель. Рядом с одной стороны шла фрау Генрих, среднего роста. С другой виделся приземистый силуэт Розы Хуберман, которая напоминала комод в наброшенном сверху пальто. На ходу она заметно переваливалась. Почти симпатично, когда б не лицо – будто из мягкого картона и раздосадованное, словно Роза с трудом выносила происходящее. Ее муж шел прямо, с сигаретой, тлеющей между пальцев. Курил он самокрутки.

А дело вот в чем:

Лизель не желала выходить из машины.

– Was ist los mit dem Kind? – осведомилась Роза Хуберман. Затем повторила: – Что такое с ребенком? – Сунулась в машину лицом и сказала: – Na, komm. Komm.

Переднее сиденье сложили. Коридор холодного света приглашал девочку выйти. Двигаться она не собиралась.

Снаружи сквозь протертый кружок Лизель видела пальцы высокого мужчины – они все

еще держали самокрутку. С кончика оступись пепел, несколько раз взлетел и нырнул, пока не рассыпался на земле. Только минут через пятнадцать смогли выманить Лизель из машины. Это сделал высокий человек.

Спокойно.

Потом была калитка, за которую она уцепилась.

Она держалась за столбик и отказывалась войти, а слезы стойкой тащились у нее из глаз. На улице начали собираться люди, пока Роза Хуберман не обругала их и они не убрались восвояси.

*** ПЕРЕВОД ***

ЗАЯВЛЕНИЯ РОЗЫ ХУБЕРМАН – Чего вылупились, засранцы?

В конце концов Лизель Мемингер робко вошла в дом. За одну руку ее держал Ганс Хуберман. За другую – ее маленький чемодан. В этом чемодане под сложенным слоем одежды лежала маленькая черная книга, которую, как можно предположить, четырнадцатилетний могильщик из безымянного городка, наверное, разыскивал последние несколько часов. Представляю, как он говорит своему начальнику: «Клянусь, понятия не имею, куда она делась. Я везде искал. *Везде!*» Уверен, он никогда бы не заподозрил эту девочку, однако вот она – черная книга с серебряными словами, выведенными под самым потолком девочкиной одежды.

*** НАСТАВЛЕНИЕ МОГИЛЬЩИКУ ***

Двенадцатишаговое руководство по успешному рытью могил. Издано Баварской ассоциацией кладбищ

Первая добыча книжной воришки – начало впечатляющей карьеры.

ПРЕВРАЩЕНИЕ В СВИНЮХУ

Да, впечатляющая карьера.

Впрочем, спешу признать, что между первой и второй украденной книгой был немалый разрыв. Еще одно следует упомянуть – первая книга украдена у снега, вторая – у огня. И не умолчим о том, что некоторые книги ей дарили. Всего у нее было четырнадцать книг, но своей историей она считала главным образом десять. Из этих десяти шесть было краденых, одна возникла на кухонном столе, две сделал для нее потайной еврей, одну принес тихий, одетый в желтое вечер.

Решив записать свою историю, она задалась вопросом, в какой момент книги и слова стали не просто что-то значить, а значить все. Не в тот ли миг, когда она впервые увидела комнату, где книг были полки за полками? Или когда на Химмель-штрассе появился Макс Ванденбург и принес в горстях многие беды и «Майн кампф» Гитлера? Или виновато чтение в бомбоубежищах? Последняя прогулка в Дахау? Или «Отрясательница слов»? Может, точного ответа, где и когда это началось, так и не будет. Во всяком случае, я не стану забегать вперед. Прежде чем мы доберемся до какого-нибудь ответа, нам нужно приобщиться к первым дням Лизель Мемингер на Химмель-штрассе и к искусству свинюшества.

Когда она появилась, с ее ладоней еще не сошли снежные укусы, а с пальцев – кровавый иней. Все в ней было какое-то недокормленное. Проволочные ножки. Руки как

вешалки. На улыбку она была не скоро, но если та все же появлялась, была заморенная.

Волосы у нее были сорта довольно близкого к немецкому белокурому, а вот глаза – довольно опасные. Темно-карие. В те времена в Германии мало кто хотел бы иметь карие глаза. Может, они достались Лизель от отца, но знать наверное она не могла, ведь отца Лизель не помнила. Об отце она хорошо помнила только одно. Ярлык, которого не могла понять.

*** СТРАННОЕ СЛОВО ***

Коммунист

Она не раз слышала его за последние несколько лет.

«Коммунист».

Пансионы, набитые людьми, комнаты, полные вопросов. И это слово. Это странное слово всегда было где-то поблизости, стояло в углу, глядело из сумрака. Носило пиджаки, мундиры. Куда бы ни поехали они с матерью, слово оказывалось там, едва разговор заходил об отце. Девочка чуяла его и знала его вкус. Не могла только разобрать по буквам или понять. А когда спросила у матери, что оно значит, та ответила, что это неважно, ни к чему ломать голову над такими вещами. В одном пансионе была женщина здоровее прочих, она пробовала учить детей писать, чертя углем на стене. Лизель так и подмывало спросить ее, что значит слово, но до этого так и не дошло. Ту женщину однажды увели на допрос. Она не вернулась.

Когда Лизель попала в Молькинг, она все-таки догадывалась, что ее спасают, но это не утешало. Если мама любит ее, зачем бросила на чужом крыльце? Зачем? Зачем?

Зачем?

И то, что ответ был ей известен – пусть на самом простом уровне, – казалось, не имело значения. Мать все время болела, а денег на поправку никогда не находилось. Это Лизель знала. Но отсюда не следовало, что она должна с этим мириться. Сколько бы ни говорили ей, что ее любят, Лизель не верила, что бросить ее – доказательство любви. Ничто не меняло того факта, что она – потерянный исхудавший ребенок, опять в каком-то чужом месте, опять с чужими людьми. Одна.

Хуберманы жили в одном из домиков-коробок на Химмель-штрассе. Пара комнат, кухня и общая с соседями уборная во дворе. Плоская крыша и неглубокий подвал для припасов. Считалось, что подвал – *недостаточной глубины*. В 1939-м беда невелика. Позже, в 42-м и 43-м – уже проблема. Когда начались воздушные налеты, Хуберманам приходилось бежать по улице до нормального укрытия.

Поначалу самым сильным ударом была ругань. Такая *неистовая* и такая обильная. Каждое второе слово было или Saumensch, или Saukerl, или Arschloch. Для людей, незнакомых с этими словами, надо объяснить. Sau, ясное дело, означает свинью. В случае Saumensch оно служит для того, чтобы уязвить, выбранить или просто унижить женщину. Saukerl (произносится «заукэрл») – это для мужчин. Arschloch можно точно перевести словом «засранец». Но это слово не имеет половой принадлежности. Оно просто есть.

– Saumensch, du dreckiges! – орала приемная мать в тот первый вечер, когда Лизель отказалась принимать ванну. – Грязная свинья! Почему не раздеваешься?

Она здорово умела злобствовать. Вообще-то можно сказать, что лицо Розы Хуберман украшала непроходящая злоба. Именно от этого появлялись морщины в картонной ткани ее физиономии.

Лизель, разумеется, уже купалась – в тревоге. Никакими судьбами она не собиралась ни в какую ванну – да и ни в какую постель, если уж на то пошло. Она забилась в угол тесной, как чулан, умывальни, цепляясь за несуществующие ручки стен в поисках хоть какой-то

опоры. Но не было ничего, кроме сухой краски, сбивчивого сопения и потока Розиной брани.

– Отстань от нее. – В потасовку вмешался Ганс Хуберман. Его мягкий голос пробрался к ним, будто протиснувшись сквозь толпу. – Дай я.

Он подошел ближе и сел на пол, привалившись к стене. Кафель был холодным и недобрым.

– Умеешь сворачивать самокрутки? – спросил он Лизель – и следующий час или около того они сидели в поднимавшемся омуте потемок, забавляясь листками папиросной бумаги и табаком, который скуривал Ганс Хуберман.

Прошел час, и Лизель уже могла довольно прилично свернуть самокрутку. Купание так и не случилось.

***** НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О *****

ГАНСЕ ХУБЕРМАНЕ Любит курить.

**Главное удовольствие от курения для него
состоит в сворачивании самокруток.**

**По профессии он маляр, играет
на аккордеоне. Это бывает кстати, особенно зимой,
когда можно кое-что заработать, играя в пивнушках
Молькинга вроде «Кноллера».**

**На одной мировой войне он уже надул меня,
но позже его отправят на вторую (такая извращенная
награда), где он опять как-то сумеет со мной разминуться.**

Для большинства людей Ганс Хуберман был едва заметен. Не-особенный человек. Разумеется, маляр он был отличный. Музыкальные способности – выше среднего. И все же как-то – уверен, вам встречались такие люди – он умел всегда сливаться с фоном, даже когда стоял первым в очереди. Всегда был *он там*. Не видный. Не важный и не особенно ценный.

Как вы можете представить, самым огорчительным в такой наружности было ее полное, скажем так, несоответствие. Несомненно, в Гансе Хубермане имелась ценность, и для Лизель Мемингер это не прошло незамеченным. (Человеческое дитя иногда гораздо проницательнее до одури занудных взрослых.) Лизель обнаружила это сразу.

Как он держался.

Это его спокойствие.

Когда Ганс Хуберман в тот вечер зажег свет в маленькой черствой умывальне, Лизель обратила внимание на странные глаза своего приемного отца. Они были сделаны из доброты и серебра. Будто бы мягкого серебра, расплавленного. Увидев эти глаза, Лизель сразу поняла, что Ганс Хуберман многого стоит.

***** НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О *****

РОЗЕ ХУБЕРМАН

**В ней пять футов и один дюйм росту,
она собирает каштановые с сединой пряди
упругих волос в узел.**

**В дополнение к Гансовым заработкам она
стирает и гладит для пяти зажиточных
семей Молькинга.**

Готовит она ужасно.

**И обладает уникальной способностью разозлить
едва ли не любого, с кем когда-либо встречалась.**

Но она *по правде* любит Лизель Мемингер.

**Просто выбрала странный способ это показывать.
Включая затрешины деревянной ложкой и слова,
чередующиеся с разной частотой.**

Когда Лизель, прожив на Химмель-штрассе две недели, наконец выкупалась, Роза стиснула ее в мощнейшем травмоопасном объятии. Едва не задушив девочку, она сказала:
– Saumensch, du dreckiges – и то, пора уж!

* * *

Через несколько месяцев они перестали быть господином и госпожой Хуберман. Обойдясь обычной пригоршней слов, Роза объяснила:

– Слушай-ка, Лизель, – теперь будешь называть меня Мамою! – Задумалась на миг. – Как ты звала свою настоящую мать?

Лизель тихо сказала:

– Auch Mama. Тоже мама.

– Ладно, я, значит, буду мама номер два. – Роза оглянулась на мужа. – И этого, там. – Казалось, она собирает слова в кулак, комкает их и швыряет через стол. – Этого свинуха, грязного борова – будешь звать его папой, verstehst? Поняла?

– Да, – легко согласилась Лизель. В этом доме любили быстрые ответы.

– «Да, Мама», – поправила ее Мама. – Свинуха. Называй меня Мамою, когда со мной говоришь.

В этот миг Ганс Хуберман как раз закончил сворачивать самокрутку, лизнул край бумажки и заклеил. Поглядел на Лизель и подмигнул. Ею она будет звать Папой без усилий.

ЖЕНЩИНА С УТЮЖНЫМ КУЛАКОМ

Те первые месяцы были, конечно, самыми трудными.

Каждую ночь Лизель снились страшные сны.

Лицо брата.

Как он глядит в пол вагона.

Просыпаясь, она плыла в кровати, кричала, тонула в половодье простыней. Напротив у стены кровать брата, как лодка, дрейфовала в темноте. Лизель приходила в себя, и кровать медленно тонула – видимо, в полу. И в этом видении радости было немного, и обычно крики девочки стихали не сразу.

Пожалуй, единственное благо страшных снов было в том, что в комнату Лизель тогда приходил Ганс Хуберман, новый Папа – с утешением и любовью.

Он приходил каждую ночь и сидел с нею. Первые раз-другой просто приходил – другой человек, истреблявший ее одиночество. Через несколько ночей он прошептал:

– Ш-ш, я тут, все хорошо.

Через три недели он обнял ее. Доверие росло быстро, и причиной была прежде всего грубая сила нежности этого человека, его *здесьность*. С самого начала девочка знала, что он придет с полукрика и не покинет ее.

***** ОПРЕДЕЛЕНИЕ, НЕ НАЙДЕННОЕ ***
В СЛОВАРЕ**

***Не-покидание* – проявление доверия и любви,
часто распознаваемое детьми.**

Ганс Хуберман, сонно щурясь, сидел на кровати, а Лизель плакала ему в майку и глубоко дышала им. Каждую ночь сразу после двух она снова засыпала под этот запах: смесь

умерших сигарет, человеческой кожи и десятилетий краски. Поначалу она всасывала все это, затем вдыхала, пока не шла на дно сама. А наутро Ганс был в нескольких шагах от нее – скрючившись едва ли не пополам, спал на стуле. На вторую кровать никогда не ложился. Лизель выбиралась из постели и осторожно целовала его щеку, а он просыпался и улыбался ей.

В иные дни Папа просил ее вернуться в постель и минутку подождать, возвращался с аккордеоном и играл ей. Лизель садилась и мычала в такт, от возбуждения поджав озябшие пальцы на ногах. Прежде никто не дарил ей музыки. Она глупо сама себе ухмылялась, наблюдая, как рисуются линии на Папином лице, глядя в мягкий металл его глаз, – пока из кухни не доносилась брань:

– КОНЧАЙ ПИЛИКАТЬ, СВИНУХ!

Папа играл еще немного.

Подмигивал девочке, и она неумело подмигивала в ответ.

Несколько раз, только чтобы чуть больше позлить Маму, он приносил инструмент на кухню и играл, пока все завтракали. Папин хлеб с джемом лежал недоеденным на тарелке, выгнувшись по форме откусов, а музыка смотрела Лизель прямо в лицо. Я знаю, это странно звучит, но так ей виделось. Папина правая рука бродила по клавишам цвета зубов. Левая тискала кнопки. (Лизель особенно нравилось, когда он нажимал серебряную, искрящую – до мажора.) Поцарапанные, но все же блестящие черные бока аккордеона ходили туда-сюда, когда Папины руки сжимали пыльные меха, заставляя их всасывать воздух и выталкивать его обратно. В такие утра на кухне Папа давал аккордеону жизнь. По-моему, если как следует задуматься, эти слова имеют смысл.

Как мы определяем, живое ли перед нами?

Смотрим, дышит ли.

Музыка аккордеона, если разобраться, еще и провозглашала надежность. Дневной свет. Днем не мог присниться страшный сон о брате. Лизель вспоминала его и тайком часто плакала в тесной умывальне, но все равно радовалась, что не спит. В первую ночь у Хуберманов Лизель спрятала свою последнюю память о брате – «Наставление могильщику» – под матрасом и теперь доставала книгу иногда, просто поддержать в руках. Разглядывая буквы на обложке и трогая текст на страницах, она и знать не знала, что все это значит. На самом деле ей было все равно, о чем эта книга. Важно было то, что она значит.

*** ЗНАЧЕНИЕ КНИГИ ***

1. Последний раз, когда она видела брата.

2. Последний раз, когда она видела мать.

Бывало, Лизель шептала слово «мама» и вспоминала лицо матери сотню раз за один день. Но это мелкие горести в сравнении с ужасом ее сновидений. Там, в необъятных просторах сна, она была, как никогда, беспросветно одинока.

Не сомневаюсь, вы уже заметили: других детей в доме не было.

Хуберманы родили двоих собственных, но те уже выросли и жили отдельно. Ганс-младший работал в центре Мюнхена, а Труды подрабатывала домработницей и няней. Вскоре они оба окажутся на войне. Одна будет лить пули. Другой – ими стрелять.

Школа, как вы можете представить, оказалась сокрушительным провалом.

Хотя она была государственной, там имелось сильное католическое влияние, а Лизель была лютеранка. Не самое благоприятное начало. Затем выяснилось, что девочка не умеет ни читать, ни писать.

К вящему унижению, ее отправили к младшим детишкам, которые только начали учить азбуку. И хотя Лизель была худенькой и бледной, она казалась себе великаншей среди карликов и не раз думала: хорошо бы стать такой бледной, чтобы вовсе исчезнуть.

Даже дома ей особо некому было помочь.

– Нечего у него спрашивать, – назидательно говорила Мама. – Этот свинух. – Папа сидел уставившись в окно – привычка такая. – Он бросил школу в четвертом классе.

Не поворачиваясь, Папа отвечал спокойно, однако с ехидством:

– Ага, и ее тоже не спрашивай! – Он стряхивал пепел за окно. – Она бросила школу *втретьем*.

Книг в доме не водилось (кроме той, спрятанной у Лизель под матрасом), и Лизель только и могла, что бормотать азбуку про себя, пока в недвусмысленных выражениях ей не прикажут умолкнуть. Весь этот бубнеж. Но домашние занятия чтением начались потом, уже после кошмара обмоченной постели. Неофициально это звалось полуночными уроками, хотя обычно начинались они в два часа пополудни. Об этом дальше.

В середине февраля, когда Лизель исполнилось десять, ей подарили старую куклу без одной ноги и с желтыми волосами.

– Все, что мы смогли, – виновато сказал Папа.

– Что ты мелешь? Да ей за счастье *это* получить, – вразумила его Мама.

Ганс разглядывал уцелевшую кукольную ногу, а Лизель пока примеряла новую форму. Десять лет означало «Гитлер-югенд». «Гитлерюгенд» означал детскую коричневую форму. Лизель как девочку записали во что-то под названием БДМ.

*** РАСШИФРОВКА ***

СОКРАЩЕНИЯ

Оно означает

Bund Deutscher Madchen – Союз немецких девушек.

Первым делом там заботились, чтобы ты как следует исполняла «Хайль Гитлер». Затем учили стройно маршировать, накладывать повязки и зашивать одежду. Кроме того водили в походы и на другие такие же занятия. Среда и суббота были установленные дни сборов – с трех до пяти.

Каждую среду и субботу Папа провожал Лизель в штаб БДМ, а через два часа забирал. Об этом они почти не разговаривали. Просто шли, взявшись за руки, и слушали свои шаги, и Папа выкуривал самокрутку-другую.

Только одно тревожило Лизель в Папе – он часто уходил. Нередко вечером он заходил в гостиную (которая заодно служила Хуберманам спальней), вытягивал из старого буфета аккордеон и протискивался через кухню к выходу.

Он шел по Химмель-штрассе, а Мама открывала окно и кричала вслед:

– Поздно не возвращайся!

– Не так громко, а? – оборачивался и кричал в ответ он.

– Свинух! Поцелуй меня в жопу! Хочу – и кричу!

Отзвуки ее брани катились за Папой по улице. Он больше не оглядывался – если только не был уверен, что жена ушла. В такие вечера, остановившись в конце улицы с футляром в руке, он оборачивался, немного не дойдя до лавки фрау Диллер на углу, и видел фигуру, сменившую Розу в окне. На миг его длинная призрачная ладонь взлетала вверх, потом он поворачивался и медленно шел дальше. В следующий раз Лизель увидит его в два часа ночи, когда он будет осторожно вытаскивать ее из страшного сна.

На маленькой кухне вечера неизменно проходили бурно. Роза Хуберман непрерывно говорила, а для нее говорить, значит – *schimpfen*¹. Постоянно что-то доказывала и жаловалась. Спорить вообще-то было не с кем, но Мама умело использовала любой подвернувшийся случай. У себя на кухне она могла спорить с целым миром – и почти каждый вечер спорила. После ужина и Папиного ухода Лизель с Розой обычно оставались на кухне, и Роза принималась за глажку.

Несколько раз в неделю Лизель, вернувшись из школы, отправлялась с Мамой на улицы Молькинга – по состоятельным домам, собирать вещи в стирку и разносить стираное. Кнаупт-штрассе, Хайде-штрассе. Еще пара улиц. Мама принимала и отдавала стирку с дежурной улыбкой, но лишь дверь закрывалась, Роза, уже уходя, начинала поносить этих богатеев со всеми их деньгами и бездельем.

– Совсем *’schinkerdt*, не могут себе одежду постирать, – ворчала она, хотя сама зависела от этих людей. – Этому, – обличала она герра Фогеля с Хайде-штрассе, – все деньги достались от отца. Вот и проматывает на дамочек и выпивку. Да на стирку с глажкой, конечно!

Это было что-то вроде позорной переклички.

Герр Фогель, герр и фрау Пфаффельхурфер, Хелена Шмидт, Вайнгартнеры. Все они были хоть *в чем-нибудь*, но виноваты.

Эрнст Фогель, по словам Розы, помимо пьянства и дорогостоящего распутства, постоянно чесал в обсиженных гнидами волосах, лизал пальцы и только потом подавал деньги.

– Их надо стирать, прежде чем нести домой, – подводила черту Роза.

Пфаффельхурферы пристально разглядывали работу.

– «Пожалуйста, на этих рубашках никаких складок! – передразнивала их Роза. – На пиджаке чтоб ни одной морщинки!» И вот стоят и все рассматривают прямо передо мной. Прямо у меня под носом! *G’sindel!*² Ну и отребье!

Вайнгартнеры были, очевидно, «дурачьем с постоянно линяющей кошачьей свинухой».

– Ты знаешь, сколько я вожусь, очищаю всю это шерсть? Она везде!

Хелена Шмидт была богатая вдова.

– Старая рухлядь – сидит там и чахнет. Ей за всю жизнь ни дня не пришлось работать.

Однако самое злое презрение Роза приберегала для дома номер 8 по Гранде-штрассе. Большого дома на высоком холме в верхней части Молькинга.

– Это вот, – показала она, когда первый раз привела туда Лизель, – дом бургомистра. Жулика этого. Жена его целый день сидит сложа руки, сквалыга, огонь развести жалеет – у них вечно холодрыга. Чокнутая она. – И Роза повторила с расстановкой: – Полностью. Чокнутая. – А у калитки махнула девочке рукой. – Иди ты.

Лизель перепугалась до смерти. На невысоком крыльце громоздилась гигантская коричневая дверь с медным молотком.

– Что?

Мама пихнула ее.

– Не чтокай мне, свинуха! Тащи!

Лизель потащила. Прошла по дорожке, взошла на крыльцо и, помедлив, постучала.

Дверь открыл банный халат.

А внутри халата оказалась женщина с испуганными глазами, волосами как пух и в позе

¹ Браниться (нем.). – Здесь и далее прим. переводчика.

² Зд.: завонялись (нем.).

забитого существа. Увидав Маму у калитки, она подала Лизель узел с бельем.

– Спасибо, – сказала Лизель, но безответно. Только дверь. Она закрылась.

– Видишь? – спросила Мама, когда Лизель вернулась к калитке. – Вот что мне приходится терпеть. Этих богатых гнусов, свиней ленивых...

Уже уходя с узлом в руках, Лизель оглянулась. С двери ее провожал пристальным взглядом медный молоток.

Закончив распекать людей, на которых работала, Роза Хуберман обычно переходила к своему излюбленному предмету поношения. Собственному мужу. Глядя на мешок со стиркой и на ссутулившиеся дома, она все говорила, говорила и говорила.

– Если бы твой Папа хоть на что-нибудь годился, – сообщала она Лизель *каждый* раз, пока они шли по Молькингу, – мне бы не пришлось этим заниматься! – И насмешливо фыркала – Маляр! И чего я вышла за этого засранца? Мне же так и говорили – родители то есть! – Их шаги хрустели по дорожке. – И что я теперь – таскаюсь по улицам и гну спину на кухне, потому что у этого свинуха вечно нет работы. Настоящей, по крайней мере. Только жалкий аккордеон и каждый вечер по этим грязным притонам!

– Да, Мама.

– Это все, что ты можешь сказать? – Мамины глаза стали как две бледно-голубые заплаты на лице.

Лизель с Розой шагали дальше.

Мешок с бельем несла Лизель.

Дома белье стирали в титане рядом с плитой, развешивали вокруг камина в гостиной, потом гладили на кухне. Вся работа шла на кухне.

– Ты слышала? – почти каждый вечер спрашивала ее Мама. В кулаке она держала утюг, нагретый на плите. Свет во всем доме был тусклый, и Лизель сидела за столом, уставившись в провалы между языками пламени.

– Что? – спрашивала она. – Что там?

– Это была Хольцапфель! – Мама уже срывалась с места. – Эта свинюха только что снова плюнула нам на дверь!

Такая традиция была у одной их соседки, фрау Хольцапфель – плевать им на дверь, всякий раз проходя мимо. От двери до калитки было всего несколько метров, а фрау Хольцапфель обладала, скажем так, нужной дальностью – и меткостью.

Причина плевков заключалась в том, что фрау Хольцапфель и Роза Хуберман уже лет десять состояли в какой-то словесной войне. Никто не знал истоков этой вражды. Они и сами, должно быть, ее забыли.

Фрау Хольцапфель была сухопарая женщина и, как видим, так и брызгала злобой. Замужем она никогда не бывала, но имела двух сыновей, несколькими годами старше Хуберманова отпрыска. Оба ушли в армию, и оба еще появятся в эпизодических ролях, прежде чем наш рассказ закончится, это я вам обещаю.

Ну а про плевки мне следует добавить, что плевалась фрау Хольцапфель еще и добросовестно. Никогда не манкировала обязанностью харкнуть и сказать «Свинья!», проходя мимо двери дома номер 33. Вот что я понял про немцев:

Похоже, они без ума от свиней.

***** МАЛЕНЬКИЙ ВОПРОС И *****

ОТВЕТ НА НЕГО

**И кого, по-вашему, каждый вечер
заставляли вытирать с двери плевков?**

Точно – угадали.

Когда женщина с утюжным кулаком велит тебе пойти и стереть с двери плевок, хочешь не хочешь, а пойдешь. Особенно если утюг горячий.

Вообще-то это стало обычным делом.

Каждый вечер Лизель выходила на крыльцо, вытирала дверь и смотрела на небо. Обычно небо было как помои – холодное и густое, скользкое и серое, – но время от времени несколько звезд набирались духу показаться и посветить, пусть и несколько минут. В такие вечера Лизель задерживалась подольше и ждала.

– Привет, звезды.

Ожидание.

Крика из кухни.

Или пока звезды опять не пойдут ко дну, в хляби немецкого неба.

ПОЦЕЛУЙ (Малолетний вершитель)

Как и в большинстве маленьких городков, в Молькинге было полно чудачков. Несколько жило на Химмель-штрассе. Фрау Хольцапфель была лишь одним из таких персонажей.

Среди остальных имелись и такие:

- Руди Штайнер – соседский парнишка, помешанный на чернокожем американском спортсмене Джесси Оуэнзе³.

- Фрау Диллер – истинная арийка, хозяйка лавки на углу.

- Томми Мюллер – мальчик с хроническим воспалением среднего уха, которое обернулось несколькими операциями, розовым ручейком кожи, нарисованным поперек лица и постоянными подергиваниями.

- И мужчина, известный главным образом как «Пфиф-фикус», – сквернослов, рядом с которым Роза Хуберман покажется златоустом и праведницей.

В общем-то, люди на улице жили довольно бедные, несмотря на ощутимый подъем немецкой экономики при Гитлере. Бедные районы города никуда не делись.

Как уже упоминалось, соседний с Хуберманами дом занимала семья по фамилии Штайнер. У Штайнеров было шестеро детей. Один, пресловутый Руди, скоро станет лучшим другом Лизель, позже – ее товарищем, а иногда и подстрекателем в преступлениях. Лизель познакомилась с ним на улице.

Через несколько дней после первой ванны Мама разрешила Лизель выйти погулять с другими детьми. На Химмель-штрассе дружбы завязывались под открытым небом, невзирая на погоду. Дети редко ходили друг к другу в гости: дома были тесными и в них обычно мало что содержалось. Кроме того, дети предавались любимому занятию, как профессионалы, на улице. Футболу. Команды были хорошо сыграны. Ворота обозначали мусорными баками.

Лизель была новенькая, и ее тут же впили между этими баками. (Освободив наконец Томми Мюллера, даром что он был самый никчемный футболист, какого только знала Химмель-штрассе.)

Поначалу все шло очень мило, пока Томми Мюллер не сбил в снег Руди Штайнера, отчаявшись отобрать у него мяч.

– Чё такое?! – заорал Томми. Его лицо дергалось от возмущения. – А чё я сделал?!

За пенальти высказались все в команде, и вот Руди Штайнер вышел против новенькой

³ Джесси Оуэнз (1913–1980) – американский чернокожий спортсмен, четырехкратный чемпион Олимпийских игр 1936 г. в Мюнхене (бег 100 м, 200 м, эстафета 4 × 100 м; прыжки в длину), посрамивший гитлеровскую идею превосходства белой расы.

Лизель Мемингер.

Он установил мяч на кучку грязного снега, уверенный в обычном исходе дела. В конце концов, Руди забивал пенальти уже восемнадцать раз подряд, даже когда соперники позаботились выдворить из ворот Томми Мюллера. Кем бы его ни заменили, Руди забьет.

В этот раз Лизель тоже попытались выгнать из ворот. Как вы можете догадаться, она уперлась, и Руди ее поддержал:

– Не, не. – Он улыбался. – Пусть стоит! – И потер руки.

Снег перестал падать на грязную улицу, и между Руди и Лизель насобиралось мокрых следов. Руди подволокся к мячу, ударил, Лизель бросилась и как-то сумела отбить мяч локтем. Затем поднялась, ухмыляясь, но ей в лицо тут же врезался снежок. Его наполовину слепили из грязи. И вlepили дико больно.

– Что, нравится? – Мальчишка осклабилсЯ и побежал догонять мяч.

– Свинух, – прошептала Лизель. Язык новой семьи усваивался быстро.

***** НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О РУДИ ШТАЙНЕРЕ *****

**Он на восемь месяцев старше Лизель, и у него
худые ноги, острые зубы, выпученные синие глаза
и волосы лимонного цвета.**

**Один из шести детей в семье Штайнеров,
вечно голодный.**

**На Химмель-штрассе его считают немного того.
Из-за одного происшествия, о котором редко говорят,
но все слышали, – «Происшествия с Джесси Оуэнзом»,
когда Руди вымазался углем и как-то ночью
пришел на местный стадион бежать стометровку.**

Пусть даже чокнутому, Руди изначально было суждено стать лучшим другом Лизель. Снежок в лицо – бесспорно идеальное начало верной дружбы.

Уже через несколько дней Лизель стала ходить в школу вместе со Штайнерами. Мать Руди Барбара заставила его пообещать, что он будет провожать новую девочку, – заставила прежде всего потому, что прослышала о том снежке. К чести Руди, он с удовольствием послушался. Он вовсе не был юным женоненавистником, как многие мальчишки. Девочки ему очень нравились – и Лизель нравилась (отсюда и снежок). Вообще-то Руди Штайнер был из тех юных нахальных засранцев, которые спят и видят себя с женщинами. Наверное, посреди персонажей и миражей каждого детства отыщется такой ранний малыш. Мальчуган, который решительно не боится противоположного пола – исключительно потому, что эта боязнь свойственна остальным; личность того типа, что не страшится принимать решения. И в нашем случае Руди Штайнер насчет Лизель Мемингер уже все решил.

По дороге в школу он старался показать ей городские достопримечательности – или, по крайней мере, успел позатыкать ими паузы между покрикиванием на своих младших, чтоб захлопнули варежку, и окриками старших, которые велели захлопнуться ему. Первым интересным местом у него было небольшое оконце на втором этаже многоквартирного дома.

– Тут живет Томми Мюллер. – Руди понял, что Лизель не помнит, кто это. – Дергунец, ну? В пять лет потерялся на рынке в самый холодный день зимы. Его нашли через три часа – так он замерз в ледышку, и от холода у него жутко болело ухо. Потом в ушах у него стало ужасное воспаление, ему сделали три или четыре операции и порезали все нервы. Вот он и дергается.

– И плохо играет в футбол, – вставила Лизель.

– Хуже всех.

Следующее место – лавка на углу в конце Химмель-штрассе. Лавка фрау Диллер.

***** ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ *****
О ФРАУ ДИЛЛЕР
У нее есть золотое правило.

Фрау Диллер была угловатая женщина в толстенных очках и со злодейским взглядом. Такой злобный вид она выработала, чтобы ни у кого даже мысли не возникло стащить что-нибудь из ее лавки, где фрау восседала со своей солдатской выправкой и леденящим голосом – и даже изо рта у нее пахло «хайльгитлером». Сама лавка была белая, холодная и совершенно бескровная. Прижавшийся к ней сбоку домишко дрожал более крупной дрожью, чем остальные дома на Химмель-штрассе. Дрожь эту вселяла фрау Диллер – раздавала ее как единственный бесплатный товар в своем заведении. Она жила ради своей лавки, а лавка ее жила ради Третьего Рейха. И даже когда в том же году ввели карточки, было известно, что она продает кое-какие труднодоступные товары из-под прилавка, а деньги жертвует фашистской партии. На стене над тем местом, где она обычно сидела, у нее висел снимок фюрера в рамочке. Если, войдя в лавку, ты не сказал «Хайль Гитлер!», тебя никто не стал бы обслуживать. Когда они проходили, Руди показал Лизель пуленепробиваемые глаза, злобно зырявшие из окна лавки.

– Говори «Хайль!», когда туда заходишь, – сухо предупредил он. – Если не хочешь гулять оттуда.

Они уже прилично отошли, и Лизель оглянулась, а увеличенные глаза по-прежнему вперились в окно.

За углом была Мюнхен-штрассе (главная дорога в Молькинг и из Молькинга), вся залитая жижей.

Как часто бывало в те дни, по улице промаршировали строем солдаты на учениях. Шагали прямые шинели, черные сапоги пуше прежнего пачкали снег. Лица сосредоточенно уставлены вперед.

Проводив взглядами солдат, Лизель со Штайнерами двинулись мимо каких-то витрин и величественной ратуши, которую позже обрубят по колено и заруют в землю. Некоторые магазины были заброшены, и на них еще красовались желтые звезды и ругань на евреев. Дальше по улице в небо целилась кирха, ее крыша – этюд подогнанных друг к другу черепиц. Вся улица сплошь была длинным тоннелем серого – коридор сырости, где ежятся на холоде люди и хлюпают мокрые шаги.

В одном месте Руди бросился бегом вперед, потянув за собой Лизель.

И постучал в витрину портновской мастерской.

Умей Лизель прочесть вывеску, она поняла бы, что хозяин здесь – отец Руди. Мастерская еще не открылась, но внутри человек уже раскладывал на прилавке какую-то одежду. Он поднял взгляд и помахал.

– Мой папа, – сообщил Руди, и тут же они оказались в толпе разнокалиберных Штайнеров, где каждый махал, или посылал отцу воздушный поцелуй, или стоял и просто кивал (как самые старшие), а потом двинулись дальше к последней достопримечательности перед школой.

***** ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА *****
Улица желтых звезд

Тут никто не хотел задерживаться, но почти все останавливались и озирались. Улица – как длинная переломленная рука, на ней – несколько домов с рваными стеклами и контуженными стенами. На дверях нарисованы звезды Давида. Дома эти – будто какие-то прокаженные. По самой меньшей мере – гноящиеся болячки на израненной немецкой земле.

– Шиллер-штрассе, – сказал Руди. – Улица желтых звезд.

Вдалеке по улице брели какие-то прохожие. Из-за мороси они казались призраками. Не люди, а кляксы, топчущиеся под тучами свинцового цвета.

– Эй, пошли давайте, – окликнул Курт (старший из Штайнеров-детей), и Руби с Лизель поспешили за ним.

В школе Руби настойчиво разыскивал Лизель на каждой перемене. Ему было начхать, что другие фыркают над тупицей новенькой. Он стал помогать ей с самого начала, он будет рядом и потом, когда ее тоска перельется через край. Но он будет это делать не бескорыстно.

***** ХУЖЕ МАЛЬЧИШКИ, КОТОРЫЙ *****
ТЕБЯ НЕНАВИДИТ, ТОЛЬКО ОДНО
 – мальчишка, который тебя любит.

Раз в конце апреля после уроков Руди с Лизель шатались по Химмель-штрассе, собираясь, как обычно, играть в футбол. Было рановато, остальные игроки пока не вышли. На улице они увидели одного сквернословия Пфиффикуса.

– Смотри, – махнул Руди.

***** ПОРТРЕТ ПФИФФИКУСА *****
Хлипкая фигура. Белые волосы.
Черный дождевик, бурые штаны, разложившиеся ботинки
и язык – да еще какой.

– Эй, Пфиффикус!

Силуэт вдалеке обернулся, и Руди тут же засвистал.

Выпрямившись, старик тут же пошел браниться с такой лютостью, в какой нельзя было не признать редкостного таланта. Его настоящего имени, похоже, никто не знал, а если кто и знал, то им его никогда не звали. Только «Пфиффикус» – так зовут того, кто любит свистеть, а Пфиффикус это явно любил. Он постоянно насвистывал мелодию под названием «Марш Радецкого»⁴, и все городские детишки, окликнув его, начинали выводить тот же мотивчик. Пфиффикус тотчас забывал свою обычную походку (наклон вперед, крупные циркульные шаги, руки за спиной в дождевике) и, выправившись, начинал изрыгать брань. Тут-то всякая благостность разлеталась в пух и прах, поскольку голос его кипел от ярости.

В этот раз Лизель повторила подначку почти машинально.

– Пфиффикус! – подхватила она, миглом усваивая подобающую жестокость, которой, судя по всему, требует детство. Свистела она из рук вон плохо, но совершенствоваться было некогда.

Старик с воплями погнался за ними. Начав с «гешайссена»⁵, он быстро перешел к словам покрепче. Сперва он метил только в мальчишку, но дело скоро дошло и до Лизель.

– Шлюха малолетняя! – заорал он. Словошибануло Лизель по спине. – Я тебя тут раньше не видел!

Представьте – назвать шлюхой десятилетнюю девочку. Таков был Пфиффикус. Все единодушно соглашались, что они с фрау Хольцапфель составили бы премилую парочку.

⁴ Сочинение австрийского скрипача, дирижера и композитора Иоганна Штрауса-отца (1804–1849) – марш, написанный в честь чешского полководца Вацлава Радецкого (1766–1858).

⁵ Отнем. Geh' scheissen – зд.: высерок.

– А ну иди сюда! – Это были последние слова, которые услышали на бегу Лизель и Руди. Не останавливались они до самой Мюнхен-штрассе.

– Пошли, – сказал Руди, когда они немного отдышались. – Вон туда, недалеко!

Он привел ее к «Овалу Губерта», где произошла история с Джесси Оуэнзом, и они молча встали, руки в карманы. Перед ними тянулась беговая дорожка. Дальше могло быть только одно. И Руди начал.

– Сто метров! – подначил он Лизель. – Спорим, я тебя перегоню!

Лизель такого не стерпела:

– Спорим, не перегонишь!

– На что ты споришь, свинюха малолетняя? У тебя что, есть деньги?

– Откуда? А у тебя?

– Нет. – Зато у Руди возникла идея. В нем заговорил донжуан. – Если я перегоню, я тебя поцелую! – Он присел и стал закатывать брюки.

Лизель встревожилась, чтоб не сказать больше.

– Ты зачем это хочешь меня поцеловать? Я же грязная!

– А я нет? – Руди явно не понимал, чем делу может помешать капля грязи. У каждого из них период между ваннами был примерно на середине.

Лизель подумала об этом, разглядывая тощие ножки соперника. Почти такие же, как у нее. Никак ему меня не перегнать, подумала она. И серьезно кивнула. Уговор.

– Если перегонишь – поцелуешь. А если я перегоню, я на ворота не встаю на футболе.

Руди подумал.

– Нормально.

И они ударили по рукам.

Вокруг все было темно-небесным и смутным, сыпались мелкие осколки дождя.

Дорожка оказалась грязнее, чем с виду.

Бегуны приготовились.

Вместо стартового выстрела Руди подбросил в воздух камень. Когда упадет – можно бежать.

– Я даже не вижу, где финиш, – пожаловалась Лизель.

– А я вижу?

Камень врезался в грязь.

Они побежали – рядом, толкаясь локтями и пытаясь забежать вперед другого. Скользящая дорожка чавкала под ногами, и метров за двадцать до конца оба разом повалились на землю.

– Езус, Мария и Йозеф! – заскулил Руди. – Я весь в говне!

– Это не говно, – поправила Лизель, – это грязь, – хотя не была так уж уверена. Они проехали еще метров пять к финишу. – Ну что, ничья?

Руди оглянулся – сплошь острые зубы и выпученные синие глаза. Пол-лица раскрашено грязью.

– Если ничья, мне же все равно положен поцелуй?

– Еще чего! – Лизель поднялась и стала отряхивать грязь с курточки.

– Я тебя не поставлю на ворота.

– Подавись своими воротами.

На обратном пути на Химмель-штрассе Руди предупредил:

– Когда-нибудь, Лизель, ты сама до смерти захочешь со мной целоваться.

Но Лизель знала другое.

Она дала клятву.

Никогда в жизни она не станет целовать этого жалкого грязного свинуха, и уж точно не станет сегодня. Сейчас надо заняться делами поважнее. Она оглядела свои доспехи из грязи и огласила очевидное:

– Она меня убьет.

«Она» – это, конечно, была Роза Хуберман, известная также как Мама, – и она впрямь едва не убила. Слово «свинюха» по ходу свершения наказания звучало без продыху. Роза измесила ее в фарш.

ПРОИСШЕСТВИЕ С ДЖЕССИ ОУЭНЗОМ

Как знаем мы оба, Лизель на Химмель-штрассе еще не было, когда Руди свершил свой детский позорный подвиг. Но стоило оглянуться в прошлое, и ей казалось, будто она все видела своими глазами. Ей почти удавалось узнать себя в толпе воображаемых зрителей. О подвиге ей не рассказывал никто, но Руди компенсировал с лихвой, поэтому, когда Лизель наконец решила вспомнить свою историю, происшествие с Джесси Оуэнзом стало такой же ее главой, как и все, что девочка наблюдала сама.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.